
СТАТЬИ

О. Н. Трубачев

ПРАСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

ПАМЯТИ ФЕДОТА ПЕТРОВИЧА
ФИЛИНА

В нынешнем году, можно считать, исполнилось десять лет с того момента, как было выдвинуто понятие праславянской лексикографии¹. Реализация нашего замысла праславянской лексикографии совпала с последними годами жизни покойного ученого; не будучи его собственным делом, она как бы пересеклась с его путями и мыслями, не однажды отпечатавшись в них. Поэтому показалось полезным напомнить здесь и сейчас о понятиях и идеях, стоящих за термином праславянская лексикография, а также затронуть при этом (разумеется, со всей краткостью) несколько самых общих вопросов, которые должны интересовать тех, кому небезразлично русское и славянское языкознание. Вот уже почти десять лет публикуются продолжающиеся труды: наш Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд, вып. 1—11: А — К (М., 1974—1984) и краковский «*Słownik prasłowiański*», т. I—V: А — Д (Wrocław etc., 1974—1984). Кроме этих двух основных словарей, начавших издаваться одновременно в декабре 1974 г.², другие, в общем немногочисленные, словарные публикации последних десятилетий, главным образом в Чехословакии, хотя и прибегают также к праславянской лексической реконструкции, в целом преследуют более широкие, сравнительные цели, восходящие еще к традициям неоконченного словаря Бернекера начала века, поэтому мы не будем здесь обращаться к этим другим словарям³.

К тому же, нас сейчас интересует русистский аспект проблемы, что отнюдь не означает утраты интереса к прочим аспектам. И материал, и новые задачи его изучения напоминают нам, что для русистики важно очень многое из того, что традиционно к русистике не относится.

Абстрактно-хронологически выглядит так, что словарь праславянского периода (скажем, наш Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд) открывает собой серию словарей славянского, в нашем случае — русского языка; за ним следуют исторические словари, словарь XVIII в., словари современного языка, диалектные словари. Люди, знавшие и слышавшие Ф. П. Филина, помнят, что он любил прибегать к этому образу фронта словарей в своих публичных выступлениях. На самом же деле праславянский словарь как бы завершает пирамиду словарей любого

славянского языка, он опирается на опыт, в частности, всей русской лексикографии. Он не случайно выходит позже всех этих словарей.

Думаю, что выход трудов по праславянской лексикографии — не односторонний акт, а ответ на обозначившуюся потребность более глубокого познания праславянского языка. Что значит познать язык? Исследовать системы его фонологии, морфологии, словообразования явно недостаточно, это дает лишь знание схемы, скелета, тогда как требуется знание языка. Аналогично судил В. В. Виноградов: «Что такое знание древнерусского языка? Морфологические схемы эволюции древнерусских именных, местоименных и глагольных парадигм, общий каркас характерных синтаксических конструкций — форм сочетаемости слов и типов образования предложений в их историческом движении нам более или менее известны. Однако это еще не дает *полного знания языка*»⁴. Поскольку в мировой науке уже ставится вопрос именно о лексикографе как посреднике между языкознанием и обществом⁵, ясно, что на специалиста по праславянской лексикографии (а не на специалиста по праславянской фонетике — фонологии, грамматике и даже словообразованию) ложится главная тяжесть поставщика информации о праславянском языке, его семантике и, как сейчас говорят, картине мира. Эти две последние категории называемы почти исключительно из реконструкции праславянской лексики и ее происхождения. При вспомогательной роли таких лингвистических дисциплин как фонетика и морфология здесь приобретают важность и нелингвистические дисциплины, например, археология, в сотрудничестве с которой лексикология (этимология) и лексикография праславянского языка рассматривают проблемы религии, погребального обряда, хозяйства, домостроительства, общественных отношений древних и древнейших славян, их географическую среду обитания.

В глазах современного исследователя, вообще — нашего современника ситуация праславянского языка и его словарного состава двойственна. С одной стороны, это — мертвый язык, но, с другой стороны, он продолжает в преобразованном виде жить в нашем языке и его лексиконе. Если верно, что каждый мертвый язык ценен и поэтому не мертв для человечества, то это вдвойне верно о нашем языке — предке для нас. Стремясь глубже понять его, мы готовы к более глубокому осмыслению собственного языка. И все же поучительно заметить, что в то время как у нас судьбы славянского праязыка занимают умы считанных специалистов, а широкую культурную общественность эта проблема вряд ли задевает, в современной Франции, например, о мертвом языке напряженно размышляют поэты и беллетристы, ср. заголовки статей «Любовь к мертвому языку», «Языки и смерть», «Поэзия и древние языки» в специальном выпуске «Action poétique» № 80, 1979⁶. Здесь говорится о недостаточной релевантности противопоставления живого языка языку мертвому, вводится существенное различие мертвых, но дошедших до нас языков, и языков исчезнувших, умолкнувших без следа; теплые слова посвящены любителю мертвых языков, который вдыхает в них жизнь,

приостанавливает разрушения смерти. Есть французские поэты, которые и сейчас пишут стихи по-латински. Здесь, далее, говорится об отчаянии, в которое впадаешь перед молчащими письменами, но и о сомнениях по поводу кажущейся бесполезности мертвого языка. Есть даже такие слова: «... и любовь к нашему собственному языку, ведущая нас к тому языку, из которого вышел наш, открывает нам смысл нашего выбора: именно потому, что мы любим его, живой язык, и его лексику и его синтаксис, мы стремимся узнать тот, другой язык, который предшествовал ему...»⁷. При моем переводе неизбежно пропал женский род французского *la langue* ‘язык’, поэтому чувства поэта как бы потускнели, и все равно тут есть чему позавидовать нам, русским, славянам. Французский прайзык — латынь зафиксирован в богатейшей литературе и лексикографии, а слова нашего славянского прайзыка (о текстах я уж не говорю) доступны нам лишь в наших — временами спорных — реконструкциях, поэтому нам бы не мешало перенять у «беспечных» французов хотя бы часть этого святого беспокойства. Мое отступление преследовало одну цель — показать общественную важность серьезных занятий прайзыком.

Таким образом, ясно без лишних слов, что праславянская лексикография — это разновидность прайзыковой лексикографии⁸. В этой связи кажется естественным, чтобы заглавное слово (лемма) словарной статьи в таком словаре давалось в прайзыковой (обычно реконструированной) форме, как в нашем Этимологическом словаре славянских языков (далее — ЭССЯ) или в польском «Праславянском словаре» (далее — ПС). На практике прибегают и к иным приемам, ср. опыт «Этимологического словаря тюркских языков» Э. В. Севортияна, где обычно заглавным служит слово одного из тюркских языков, а также характерный подзаголовок этого словаря: «О б щ е тюркские и м е ж тюркские основы». Вопрос о пратюркских основах или лексемах в сущности здесь прямо не ставится. В таких случаях бывает трудно понять, в чем причина разности трактовки — в неразработанности прайзыковой стадии языка в науке или в некотором консерватизме терминологии, которая давно обслуживает вполне современные научные представления, как например в случае с франц. *slave commun*, англ. *Common Slavic*, в сущности — ‘общеславянский’, термин, который передает идею прайзыка менее адекватно, чем наше *praslawianский* или нем. *Urslavisch*.

Обозначение прайзыковой стадии всех пятнадцати славянских языков — живых и мертвых — как общеславянской в современной науке не принято, потому что оно имплицирует идею единства, не соответствующую действительному положению вещей. Раньше, во времена господства теории родословного древа, понятие прайзыка, действительно, синонимизировалось с понятием единства, или попросту подменялось последним. Так, немногие появлявшиеся тогда прайзыковые словари носили название «словарных составов языкового единства», например: Wh. Stokes und A. Bezzenger. *Wortschatz der keltischen Spracheinheit* (4. Auflage. Göttingen, 1894); Hj. Falk und A. Torp. *Wortschatz der germanischen Spracheinheit*

(4. Auflage. Göttingen, 1909). Но и таких опытов было мало, а более новые за ними не последовали. Возможно, настораживали возросшие симптомы древнедиалектной сложности, несовместимые с понятием исходного единства? Праязык, трудно сводимый к единству (пример: балтийский, где западнобалтийский тяготеет в ряде случаев не к восточнобалтийскому, а к славянскому или другим индоевропейским), *ex silentio* считался малоподходящим объектом для праязыковой лексикографии (не было необходимой гарантии первоначального «единства»), хотя в нашем представлении здесь противоречия нет. Перечень лакун праязыковой лексикографии можно продолжить. Нет настоящего праиранского словаря (таковым нельзя считать «*Altiranisches Wörterbuch*» Бартоломэ по письменным древнеперсидскому и авестийскому, но с полным отсутствием праязыковой реконструкции средне- и новoirанских лексических данных), еще не написан и не скоро будет написан праиндоарийский словарь в современном понимании.

А, может быть, и нам рано браться за праславянскую лексикографию? Сама собой, казалось, напрашивается мысль, что пока не закончено лексикографическое описание русского языка и его диалектов, преждевременно решать праязыковые проблемы. Примерно такой обмен мыслями у меня состоялся давно с одним коллегой, нашим известным славистом, который говорил, что есть дела и более насущные. Конечно, важны полные описания языка, его лексики, говоров. Значит, лучше отложить реконструкцию праславянского словаря еще на 15—20 лет в ожидании большей полноты фактических данных? Нет, думаю, не будет лучше, нельзя безнаказанно слишком долго откладывать подготовку обобщающих трудов. Только они могут внести принципиальную методологическую ясность там, где мы ее не скоро еще дождемся (или не дождемся вовсе) на пути одного накопительства фактов. Мы сейчас давно пожинаем плоды того ущерба, который проистекает от слишком запоздалых обобщений по праславянскому языку. Упрощенческий образ первоначально бездиалектного единства — славянского, восточнославянского и т. д. — пронизывает современные исследования. Помню, я тому коллеге тогда ответил, что нельзя ставить в зависимость изучение проблем индоевропеистики от состояния изученности коломенских говоров. Теперь я склонен ставить вопрос более остро: верное понимание эволюции коломенских (и любых других) говоров требует немедленной разработки праязыковых — праславянских, праиндоевропейских проблем. И это не парадокс. Взять хотя бы тот факт, что к идее изначальной диалектной региональности словарного состава первыми пришли индоевропеисты. А ведь эта идея должна быть нашим общим достоянием, она касается любого праязыка, в том числе праславянского; это, так сказать, праязыковая универсалия. Я не скажу, что все индоевропеисты думают так; есть ученые, которым обязательно требуется какой-нибудь *terminus post quem*, ну, хотя бы 3000 лет до н. э., которыми они датируют начало диалектного деления прежде единого индоевропейского праязыка. Этим ученым эта дата нужна, что называется, для спокой-

ного сна. Возможно, привычному сознанию психологически вместить идею изначальной диалектной множественности (свидетельствуя чему предостаточно) — это все равно, что вместить идею о бесконечности вселенной.

В индоевропеистике идея древнего диалектного членения раньше прижилась, раньше представилась как самоочевидная, поскольку за диалекты вынужденно принимались целые большие группы языков; ни одна попытка сведения их к одному уровню не давала и не могла дать картины исходного единства. Труд В. Порцига о членении индоевропейской языковой области увидел свет в немецком оригинале еще в середине нашего века (1954 г.)⁹. А в частных филологии упорно держится один из мифов сравнительного языкознания — о «додиалектном» единстве каждого праязыка. До сих пор продолжает жить иллюзия «удивительного единобразия» праславянского языка, ср. так буквально В. Маньчак: «... język prasłowiański jest zdumiewająco jednolity»¹⁰. Приходится признать, что все это лишь свидетельствует о плохом нашем знании праславянского языка, причем именно по части словаря — лексикологии и лексикографии. Бывает, что даже первоклассные специалисты по славянскому языкознанию не принимают серьезно в расчет древнедиалектного членения языка праславян в лексике, склоняясь к идее изначальной однородности праславянского лексикона. Мне вспоминается беседа на эту тему на семинарском занятии проф. Ф. В. Мареша в Венском университете весной 1978 г. Разговор велся в присутствии нескольких студентов, которые слушали нас внимательно. Иллюстрируя свою противоположную точку зрения, я прибег к примеру бесспорно праславянской еще диалектной чересполосицы глаголов с фундаментальным значением ‘продолжаться, длиться, упорствовать’: праслав. диал. *tr̥vati (чеш., слвц., польск.; в укр. и бр., видимо, на правах полонизмов) и праслав. диал. *trajati (ю.-слав. языки и заодно с ними — оба серболужицких, при переходной позиции чешского). Остается добавить, что собственно русские восточные славяне не знают и, по-видимому, никогда не знали ни одного, ни другого из приведенных выше достаточно древних диалектных славянских слов с особыми соответствиями в других индоевропейских языках¹¹, но выражали эти важные понятия иначе. Перед нами формы, делившие на своеобразные ареалы славянское языковое пространство практически всегда. Речь идет о случае ярком, но в общем известном нашей науке. То обстоятельство, что данный случай, при всей очевидной важности глагольных слов и весомости стоящего за ними фондового понятия, а также рельефной географии, все же продолжает пребывать в тени и не заинтересовал еще славистов должным образом, далее, вероятие целого ряда других подобных случаев, наконец, актуальность их выявления, собирания и исследования — все это уже дает нам в руки если не программу, то направление работы праславянской лексикологии (этимологию) и лексикографии.

Можно сказать, что славистика и русистика обязаны сравнительному индоевропейскому языкознанию, во-первых, идеей древнего

диалектного членения (и древнего диалектного словарного состава) и, во-вторых, гармонично дополняющей ее идеей волнообразного распространения инноваций через сложившиеся границы диалектов. Без этих двух идей не может плодотворно работать не только праславянская лексикография, но и лингвистическая география. Важность понимания волнового продвижения инноваций (в том числе лексических) показывает еще недооцениваемые подчас потенции древнего междиалектного общения и относительность (проникаемость) диалектных границ — главные условия существования наддиалектных слоев языка и словаря.

Работа в области праславянской лексикографии есть работа над проблемой состава праславянского словаря (лексики), в первую очередь, как это следует из предыдущего, над соотношением общих и частных, т. е. диалектных, элементов этой лексики. Все эти годы, стараясь не оставлять без внимания и лексики общеславянского распространения, я обращал главные усилия на ту менее исследованную часть праславянской лексики, которую образуют праславянские лексические диалекты и змы. Здесь проделана известная работа, начиная с формулировки самого понятия праславянского лексического диалектизма более двадцати пяти лет назад¹² и кончая тем, чему не суждено кончиться, видимо, никогда — выявлением и анализом диалектизмов этого рода. Личный опыт показал, что самое неблагодарное дело в этой области называть какие-то цифры, даже выведенные на основании определенных предварительных подсчетов. Так, если двадцать лет тому назад я называл общую цифру слов праславянского лексического фонда — 5000—6000, то она в общем достигнута уже сейчас, когда написаны 13 выпусков ЭССЯ (А — К), а словарь в целом только перевалил за треть и еще не достиг половины своего объема. Двадцать лет назад это было трудно предвидеть. Ф. П. Филин, который в конце жизни взялся с жаром за подсчеты, уже опираясь на опубликованные первые семь выпусков ЭССЯ, предсказывал нам наш общий окончательный объем — более двадцати тысяч слов праславянского лексического фонда. Интересно будет впоследствии проверить этот прогноз; возможно, он не далек от истины. Так же или еще характернее обстоит дело с оценкой праславянских диалектизмов лексики. Тогда, давно мне казалась новой и смелой моя предварительная оценка их количества в 25 % (четверть) всего праславянского лексического фонда¹³. Редактор «Праславянского словаря» Ф. Славский лет десять спустя указывал, что в 1 томе его словаря на 900 статей приходится около 400 явно диалектных¹⁴. Ясно, что цифры всегда заслуживают проверки, но знаменательна, как увидим ниже, сама тенденция, стремительная эволюция воззрений на праславянский язык и его словарь, поскольку думается, что не будь такой эволюции — не было бы и таких цифр. А еще через несколько лет Ф. П. Филин, проделав подсчеты на нашем материале в указанном выше объеме опубликованного ЭССЯ, пришел к феноменальному заключению, что в праславянском языке региональных, диалектных слов было больше, чем общеславянских, т. е. более

половины всего праславянского слова尔斯кого состава¹⁶. Можно допустить, что этимолог кладет в основу своего понимания древнего лексического диалектизма более фундаментальные отличия (разные этимологии — разные слова), чем оттенки значений и отклонения в словообразовании, и что в дальнейшем величины будут сбалансированы в сторону уменьшения, но это детали, в остальном же тут есть над чем задуматься привычно мыслящему слависту и русисту. Пестрота и лексическая разобщенность праславянских диалектов — так или иначе — превосходит все прежние ожидания и вероятия. Разумеется, она характеризовала в первую очередь низовые, территориальные диалекты нашего языка-предка. Здесь серьезнейшему испытанию подвергается сама идея существования праславянского языка. Ф. П. Филин пишет так: «.. .Праславяне говорили на близкородственных диалектах, каждый из которых и был реальной коммуникативной единицей, а праславянского языка (в современном понимании термина «язык») не существовало: на нем никто не говорил, а говорили на диалектах»¹⁶. Правда, уже относительно давно замечено, что к древнему языку, прайзыку, будь то праславянский или любой другой, целесообразно подходить как к живому языку. Любой живой язык предполагает и низовые, и средние, и высокие формы общения. Наш прайзык тоже, несомненно, имел не только пестрые низовые диалекты, но и наддиалектные формы речи. Наличие этой вертикальной страты прайзыка снимает принципиальное различие между прайзыком и языком современным, при всех возможных второстепенных различиях. Столь же осторожно мы отнесемся к утверждению, что иных древних форм устной речи, кроме диалектных ее разновидностей, не было¹⁷.

Наддиалектная страта, охватывающая весь праславянский язык (речь), собственно, и может одна нам объяснить такой, в противном случае не объяснимый, феномен, как вырабатывание единого славянского этнического самосознания, которое существует и из единого самоназвания *славяне* — праслав. **slōvēne*. Таким образом, любая слишком острая постановка вопроса рано или поздно корректируется, и мы не вправе ничего преувеличивать: ни исконного единства, ни, наоборот, его антитезы — полной якобы изоляции и даже естественного древнего бездорожья.

Междиалектное общение и обмен, межэтническая торговля процветали, вопреки примитивности путей сообщения, с давних пор — с так называемой неолитической революции, выдвинувшей ремесленное производство; с последней, собственно, и ведет свое начало макроэтническая консолидация предыдущих абсолютно изолированных микроэтносов¹⁸.

Наддиалектная лексическая конвергенция возможна даже при различии контактирующих грамматических систем; так, в Африке это явление встречается в масштабах, совершенно невиданных для индоевропеиста¹⁹.

Поэтическая, жреческая лексика, терминология высоких понятий (социальных, моральных и т. д.), вообще многое обещает славянское

в праславянском — это и был наддиалект. Название койнэ — *τὸν κοινὸν ἀλλέλων* ‘общая речь’ — меньше подходит, потому что не передает идею стратиграфически более высокой ступени, а тем самым не объясняет и природу общности. Понятие аристократическая лексика Мейе и его последователей способно ввести в заблуждение, так как включает идею аристократии для эпох, когда последней еще не могло быть, в то время как наддиалект мог развиться как форма высокой речи и при слабой социальной дифференциации. «В известной мере сохранилась лексика только аристократическая; мы почти не имеем сведений о просторечных словах», — писал Мейе об индоевропейском словаре²⁰. Сейчас это не может быть принято; «аристократическая», а точнее — наддиалектная лексика (поэтического, высокого языка) есть не что иное как сублимация первоначально народной лексики. Путем этой сублимации, т. е. повышения по стратиграфической шкале, собственно диалектной, низовой лексики вырабатывался наддиалектный словарь при условии междиалектного общения.

В любом наддиалектном, «аристократическом» (а если продолжить этот ряд относительных синонимов, то и общенародном, литературном) слове любого языка поражает как раз возможность разглядеть, в конечном счете, народную, «низкую» диалектную первооснову или, по крайней мере, ее строительные элементы. Вертикальные страты лексики отделены друг от друга четко, но не абсолютно. Между ними постоянно имеет и имело место сообщение — отмеченная сублимация низкого (возьмем слово **pastyrъ* — смиренное ‘пастух, пасущий стада’ в ряде славянских языков и высокое его употребление ‘пастырь душ, руководитель людей’), осуществлялось также и опускание, снижение высокого.

Эти лексические страты (локальнодиалектное — общенародное — наддиалектное) только на первый взгляд не перемешиваются, подобно тому как это утверждалось раньше о водных слоях Черного моря; на самом же деле, как и черноморские воды, они неуклонно сообщаются и питают друг друга.

Виды лексической сублимации — метафора, в основе которой часто лежит парабола-притча евангельского образца. Распространен был перенос слова из скотоводческой лексики в религиозную (ср. выше **pastyrъ*), социальную, как например **sopr̥gъ* ‘супруг’, дв. ч. м. р. **sopr̥ga* ‘упряжка из двух волов’ в проникновенном обращении Кирилла к своему брату Мефодию: се, брате, вѣ *соупроуга* баходѣ, юдиноу бразду тажаща, и азъ на лѣсъ падаю, свои днъ съконичавъ (Жит. Меф. VII). Образ и способ пополнения возвышенной лексики, бесспорно, древний и свойственный для различных языков, ср. др.-греч. *cxoreba*, груз. *cxovreba* (չեղնեց, ‘жизнь’, первоначально — ‘овцеводство’)²¹ или др.-инд. *gáviṣṭi-* ‘бой, битва’, первоначально — ‘жажды крупного рогатого скота, стремление обладать быками и коровами’²².

Ономастика (гидронимия и топонимия) также в значительной своей части наддиалектна. Естественно, что наддиалект консервативнее, чем низовые диалекты, поэтому трудно ожидать на уровне террито-

риальных диалектов и их лексики полного совпадения с ономастическими ареалами. Например, давно уже обратили внимание на соответствие целых групп топонимов в Мазовше (Польша) и Поочье.²³, однако мы не имеем данных об эквивалентных ареалах западнославянско-вятических соответствий диалектной апеллативной лексики. Возможно, они тоже существовали, но сгладились раньше.

Консервативность именно наддиалектных форм, будь то ономастика или поэтический, литературный язык, лишний раз укрепляет нас в убеждении, что эти слои очень важно привлекать для пражязыковой лексической реконструкции, не ограничиваясь одной лексикой низовых диалектов.

Древний устный наддиалект был наделен чрезвычайной прочностью и устойчивостью, представляя собой отдаленный прообраз литературного языка до появления письменности, ср. уже высказавшиеся в нашей науке мысли о наддиалектном статусе фольклора и другие близкие идеи²⁴.

Таким образом, объект нашей праславянской лексикографии исторически реален и вместе с тем сложен: он включает постепенно вскрываемое многообразие лексики древних народных диалектов и перекрывающее его единообразие лексики праславянского наддиалекта. Можно только высказывать предположения относительно длительности формирования этого наддиалекта, отражавшего макроэтническую консолидацию славянства. И то, и другое было, очевидно, длительным процессом. Идеальному осуществлению консолидации праславянского этноса и его наддиалекта должны были противодействовать тенденции дивергентные, которые в конце концов, как известно, взяли верх, что получило выражение в языках славянских народностей. О том, что путь этот был порой зигзагообразным, зависящим от исторических и политических причин, и что существующий состав группы славянских языков и народов не является единственно возможным, имеются достоверные сведения. Не говоря уже о крупных союзах славянских племен, которые растворились (ассимилировались) на греческом Юге Балканского полуострова и на германском Северо-Западе и которые при иных обстоятельствах могли сложиться в самобытные народы со своими полнокровными славянскими языками, известны случаи, когда реальные задатки образования особого славянского народа и, возможно, языка были затем полностью сведены на нет новыми неблагоприятными центробежными тенденциями. Так мог еще сформироваться моравский народ и язык, но до этого не дошло, и теперь только специалисты-историки помнят о раннесредневековой моравской народности²⁵. Ясно, что праславянская лексикография опирается на знание этнической истории славянства, но, принимая во внимание, что речь идет о дописьменных эпохах, для которых вступают в силу показания косвенных данных и не в последнюю очередь — лингвистической реконструкции, праславянская лексикография оказывается сама как бы в роли источника по древней и древнейшей этнической истории славян (я имею в виду этимологическое комментирование как инструмент праславянской лексикографии). Конечно, позднее развитие праславянской лексико-

графии сказывается на том, что мы не только плохо еще знаем праславянский язык, но также и эти внерелигистические древности.

И однако, при всех недостатках и небольшом объеме сделанного, разработка праязыковой лексикографии на сегодняшний день наиболее продвинута именно на материале славянской группы индоевропейских языков, что налагает на нас ответственность и повышает теоретический интерес разысканий. Славистика имеет на своем счету не одни только отставания, но и серьезные достижения, выдигавшие ее на первое место среди других частных филологий, как это было в свое время в области фонологии. Ответственная задача наших праславянских словарей — московского ЭССЯ и краковского ПС — ввести в научный оборот надежные данные о составе и ареалах древней лексики славян.

Вышеизложенное есть одновременно ответ на вопрос, кому и зачем нужна праславянская лексикография, хотя все вопросы исчерпать в кратком изложении трудно, приходится даже на существенном останавливаться выборочно. Говоря об отличиях, нельзя упустить из виду принципиальных сходств. В самом деле — что такое словарь праславянского языка? Это словарь с реконструированным словником, внешне не похожий на другие словари. Но реконструкция — это прежде всего высокая степень обобщения, которое — в меньшей степени — присутствует в других словарях и их словниках. Праславянская лексикография теснейшим образом связана с этимологией (у нас эта связь особо подчеркнута и вынесена в название нашего ЭССЯ, в ПС это меньше выражено), но любой другой словарь в большей или меньшей степени зависит от уровня этимологии, не говоря уж о лексикологии вообще, так что и здесь мы имеем дело скорее с разной степенью признака, чем с его полным наличием или отсутствием. Сказанное непротиворечиво вытекает из наших рассуждений о праязыке: если праязык принципиально ничем не отличается от современного живого многофункционального языка, то и праязыковая лексикография гораздо больше сродни любой другой лексикографии (синхронной, исторической), чем может показаться на первый взгляд. Отсюда неизбежный вывод о том, что *праводнное слово* — равноправный сюжет и словарная позиция в праязыковой и этимологической лексикографии; именно здесь аналогия со словарем *живого языка* особенно плодотворна. Надо сказать, что на Западе еще мало задумывались над этими кардинальными вопросами, как это видно из недавнего обмена мнениями между М. Майrhoфером и Ю. Унтерманом. И ЭССЯ, и ПС давно и положительно решили для себя проблему трактовки производных слов и применяют ее в своей практике.

Но одно дело — фонетическая (фонематическая) и даже лексическая реконструкция: проецировать слово в праславянскую древность, пусть с большей или меньшей дозой гипотетичности, не так уж трудно. Другое дело — семантическая реконструкция праславянского слова. С той поры, как мы поставили акцент на автономности и имманентности свойств каждого уровня языка и усомнились в структуралистском тезисе изоморфизма

языковых уровней, мы вступили на трудную стезю. Понимать ли бесхитростно праславянскую семантическую реконструкцию как транспозицию засвидетельствованных значений слов славянских языков? Практика эта целиком повторяла бы в духе изоморфизма упомянутую формально-фонетическую реконструкцию. Так поступают составители краковского ПС: *biťъ* ‘сильно разросшийся, развитый; мощный, сильный, безудержный, неистовый; неукротимый; бешеный, глупый’ (ПС 1, 441). Ниже, в соответствующей статье ПС мы найдем эти же значения при засвидетельствованных словах. Налицо, таким образом, неэкономная тавтология, не говоря о более принципиальных теоретических минусах. Ясно, что назвать это реконструкцией древнего значения нельзя. Все эти значения присутствуют и у нас в обзоре слов, объединенных под праслав. **biťъ* (ЭССЯ 3, 84—83), но на тавтологическую транспозицию их в праславянский период мы не идем. Таково же различие между нашими трактовками производной формы **biťъnъ(jy)* и ее значений, как, впрочем, и всех других случаев. Нельзя поручиться, что все столь различные значения — ‘пышно разросшийся; буйный; сильный; большой; глупый’ — наличествовали у праслав. **biťъ* и **biťъnъ* уже в древности как значения одного слова, что они не принадлежали разным диалектам или разным, в том числе поздним, эпохам, как, впрочем, трудно и доказать обратное. Нетрудно заметить, что ПС реконструирует для праславянского также явные вторичные, переносные значения ‘безддержный, неистовый; неукротимый; бешеный, глупый’, но оставляет в стороне значение ‘крупный’, в первичном характере и родстве которого этимологическому значению исходного и.-е. **bhou-/bhā-* ‘расти’, лежащего в основе этой группы слов, вряд ли можно сомневаться. Для блр. *буинъ* значение ‘крупный’ является основным, и оно едва ли представляет собой инновацию, скорее наоборот. Впрочем, хорошо, что мы точно знаем значение этого блр. слова, в противном случае, если бы нам были даны в ограниченном по объему старом письменном тексте только слова *буиная рагатая жывёла* и зная лишь об этимологическом родстве данного прилагательного прочим славянским словам с перечисленными выше достаточно разнообразными значениями, мы имели бы — в рамках той же этимологии — с л и ш к о м б о л ь ш о й в ъ б о р, чтобы можно было поручиться за точность семантической реконструкции. Ничто, например, не мешало принять здесь значение — в согласии со значениями большинства славянских соответствий — ‘буйствующая скотина’, и это было бы даже правдоподобно, но неточно, потому что мы знаем действительное значение блр. *буиная рагатая жывёла* — ‘крупный рогатый скот’. Пример наш поучителен как предостережение для тех случаев, когда мы не знаем действительного значения исследуемого слова и вдохновляемся только знанием значений его этимологических родственников. Ни суммирование известных значений, ни их транспозиция в древнюю эпоху, ни даже оперирование достоверными этимологическими соответствиями не дают, как видим, нам гарантии адекватной реконструкции реального значения слова. Утешать себя тем, что мы даем древнее значение в некотором приближении, можно тоже только до

известного предела, потому что дистанция между нашим реконструктом и реальной семантической величиной может все-таки оказаться слишком большой, как в описанном случае, который, к тому же, не является самым трудным, а напротив, отличается довольно благоприятными условиями. Это сказано не в осуждение этимологического метода семантической реконструкции. Самые хорошие методы имеют свои ограничения, оказываются недостаточно тонкими. Следует иметь в виду, что перед трудностями семантической реконструкции до настоящего времени пасуют все методы. Будет лучше, если мы трезво отдадим себе отчет в том, что этимологический анализ вскрывает основной семантический признак, но не все живое значение. Механический перенос или суммирование способны породить грубые ошибки. На словарном гнезде **būjъ* мы задержались несколько дольше еще и потому, что оно уже служило предметом анализа таких лексикологов, как В. В. Виноградов и Б. А. Ларин²⁶, не говоря о более ранних, — анализа, чреватого небесспорными обобщениями и отклонениями.

Вообще почему-то считается, что главную трудность как для этимологии, так и для семантической реконструкции представляют слова затмленной структуры, а с так называемыми «прозрачными» словами никаких проблем нет. Наверное, в этом убеждении залегает все та же подспудная изоморфистская идея о том, что словообразовательно-морфологической производности должна соответствовать такая же семантическая производность или что знание значений отдельных морфем дает нам знание значения всего слова. Определенным шагом на пути преодоления этого можно считать равномерное включение в словарники ЭССЯ и ПС как непроизводных, так и «прозрачных» производных и сложений. Первоначальный принцип ПС (Славский) — ограничиваться немотивируемыми словами — открывал свободу для субъективной интерпретации и практически не соблюдался в самом ПС, выполняющем реконструкцию всей лексики праславянского словаря. Можно сказать, что эта старая антитеза этимологической литературы снимается в современной праславянской лексикографии. Но трудности «прозрачных» слов по-прежнему подстерегают исследователя, которому может показаться, что, раз он знает и видит состав слова, он может «прочесть» его значение. Здесь приходит в голову ситуационно очень близкий парадокс с названиями ломбарда. Нем. *Lombard* (откуда рус. *ломбард*) формально-этимологически значит 'ломбардец, житель Ломбардии', франц. *mont-de-piété* и того «прозрачнее», оно буквально значит 'гора благочестия'. Спрашивается, что общего между этой их «прозрачной» структурой и реальным значением обоих слов — 'кредитное учреждение, ссылающее деньги под залог движимого имущества, ломбард'? Не случайно проблеме «прозрачных» слов сейчас посвящаются специальные труды²⁷, и она в полный рост стоит перед нами в практике праславянской лексикографии.

Впадать в пессимизм, впрочем, тоже не следует, правильное представление относительно наших возможностей и их ограничений — это тоже достижение в таком деле как реконструкция древних значе-

ний. На этом пути мы все-таки можем продвинуться и углубить семантическую историю известных нам слов прозрачной словообразовательной структуры или хотя бы существенные моменты этой истории. Среди этих слов могут быть такие важные социальные термины, как др.-рус. *изгои*. Мои соображения на этот счет оформились уже после сдачи в производство 9-го выпуска ЭССЯ, и включить их туда уже не было возможности, поэтому я пользуюсь случаем, чтобы поделиться ими здесь. Это может также считаться ответом на вопрос: что дает праславянская реконструкция для познания более поздних слов и значений. «Материалы» И. И. Срезневского (I, 1052) предельно кратки, они толкуют слово *изгои* с помощью лат. *exsors* и нем. *friedlos*. СлРЯ XI—XVII вв. (вып. 6, 138) дает, основываясь на Правде Русской (кр.) и некоторых других источниках, весьма обстоятельное толкование: ‘человек, оторвавшийся от своего сословия (выкупившийся холоп; князь, потерявший княжество; разорившийся купец и т. п.)’. Это созвучно с толкованием Даля (Даль² II, 19): *изгой* м. стар. ‘изверженец? исключенный из счету неграмотный попович; князь без княженья, владенья; проторговавшийся гость (банкрут), не платящий податей’. В нашем привычном сознании *изгой*, действительно, сливаются, синонимизируются со словами ряда *отверженный*, *отщепенец*, но определяющим и более ранним значением или признаком было нечто другое. Помня свои собственные предостережения, мы не претендуем на реконструкцию всего живого значения этого слова в древности. Однако семантико-этимологическая реконструкция слова *изгои* может идти по пути более внимательного учета семантики глаголов, непосредственно мотивировавших слово *изгои*: др.-рус. *изжити* ‘потратить, израсходовать на существование’, особенно — рус.-цслав. *иждивитися* ‘израсходоваться’, значение которого подкрепляется и другими славянскими (в.-луж. ‘прокормить’). Данные по истории общества тоже говорят о том, что изгойство означало определенное обещение, пусть с моментами отделения и ограничения в правах. Эти наблюдения оформились у меня при рецензировании труда историка М. Б. Свердлова «Генезис и структура феодального общества в Древней Руси». Попутно напомню, что и Даль заключает свое толкование слова *изгой* весьма информативным указанием: «и п л а т я щ и й п о д а т е й». Так что сводить все к прямолинейному толкованию слова и семантике *изгой* как ‘изжитый, выжитый (из своей среды)’ было бы не вполне точно. Справедливее акцентировать связь *изгои* с активным и поныне социальным термином *иждивение*. Слав. *jъz-goјъ, *jъz-živiti очень напоминают по структуре греч. ἔκ-τρέφω ‘выкармливать, вскормить’, ἔκ-τεθραμμένος ‘вскормленный (напр. сын)’. Есть ли основания говорить тут о ранней славянской кальке с греческого юридического термина (что может поставить под вопрос праславянскую древность нашего слова), неясно.

Понятно, что проблема реконструкции — главная и всеобъемлющая в праславянской лексикографии. Она обязательно присутствует при решении всех других теоретических и практических проблем, которые встают перед составителями словаря праславянского языка.

Для краткости остановимся на двух важнейших проблемах лексикологии, которые часто встречаются в практике праславянской лексикографии. Первая из них — омонимы в праславянском словаре, вторая — антитеза нарицательных и собственных имен и праславянский словарь.

С омонимами и омонимизацией приходится считаться на всех уровнях исследований по лексикологии и лексикографии — синхронно-описательной и исторической. Существует небезосновательное мнение, что наиболее строгое, однозначное решение об отсутствии или наличии омонимов возможно на уровне непосредственного наблюдения и описания. Но и сама эта точка зрения строится на предположении в т о р и ч н о с т и процесса омонимизации. Ясно, что история языка и реконструкция должны первым долгом вскрывать природу этой вторичности. Было бы странно механически переносить избыточную подачу омонимов в принципе в словарь диахронического типа, хотя на практике это встречается. Разумеется, праславянская лексикография показывает исходное единство вторично омонимизировавшихся случаев. Более подробно я говорю об этом в работе «О семантической теории в этимологическом словаре (Омонимы подлинные и ложные)». Там, где единства не удается доказать и мы имеем дело с подлинными омонимами, возникает вероятность интересной этнолингвистической ситуации — разнодialectной их природы, как это вероятно и относительно древних синонимов. Категории лексикологии и лексикографии помогают пролить свет на сложную древнюю диалектную картину, этнические связи. Что касается трактовки омонимов в праславянской лексикографии, она, при всей ясности упомянутых принципов, оказывается разной в двух разных словарях — ЭССЯ и ПС (возможно, если праславянских словарей было бы больше, мы имели бы еще больше разных вариантов трактовки древних омонимов, хотя хочется думать о возможности приближения к наиболее объективной картине действительного состояния). Возьмем один, но достаточно показательный пример. ЭССЯ (5, 119—120) содержит одну словарную статью **drobъ*, в которой объединено довольно много слов отдельных славянских языков с разными, казалось бы, значениями: ‘внутренности; кусочки хлеба, пакрощенные в молоко, суп и т. п.; осадок, подонки; крошка, мелочь; дробь; мелкие домашние животные’. Однако главное, что их объединяет в одной статье морфологически — это производность или соотносительность с глаголом **drobiti* ‘дробить, мельчить, разделять на кусочки’; семантически их объединяет одно основное значение, или два близкородственных значения ‘остаток; мелочь’. Именно так — как ‘остаток’ — можно понять региональные значения ‘внутренности; потроха’ (болг., серб.-хорв., словен., чеш., в.-луж., н.-луж.), потому что легкие, сердце, печень обозначены как о с т а т о к после отделения более ценных сортов мяса; осадок, подонки тоже обозначаются как ‘остаток’, но вместе с тем, как это известно по способу обозначения (виноградных) выжимок и дрожжей, — это одновременно и крошево, крошки. Это замечание демонстрирует родство и как бынейтрализацию трудно-различаемых значений ‘остаток/мелочь’. Поэтому понятен способ

обозначения домашней птицы и мелких домашних животных словами **drobъ*, **drobъ* (польск., укр.) — это то, что остается за вычетом крупной скотины. Таким образом, мотивы объединения этого материала в одной словарной статье ЭССЯ как будто ясны. Это единое слово с общим значением лить в т о р и ч и о у п о т р е б л е н о применительно к разным объектам в отдельных славянских языках, общая природа чего видна, и она должна быть выделена при достаточно глубокой реконструкции. ПС поступает непоследовательно с этим материалом. Мы читаем в нем (IV, с. 245—248): *drobъ* 1. 'то, что о ста ет ся (осадок) после варки пива', затем *drobъ* 2. 'мелкие предметы, мелочь, отходы, остатки, крошки, мелкие домашние животные, птица' (семантическая доминанта 'остатки, отходы после обработки разных материалов' прослеживается и здесь по примерам из живых славянских языков) и, наконец, *drobъ* 3. 'внутренности животных (обычно — сердце, легкие, печень)'. Мы уже знаем (выше), что это — не что иное как вторичная лексикализация разных употреблений одного и того же значения и, чтобы быть последовательным, ПС мог бы выделить еще одно *drobъ* 'мелкие домашние животные и птица', которое в нем включено в одну статью *drobъ* 2. вместе с 'мелкими предметами'.

Поскольку я коснулся тома IV ПС, вскользь замечу, что этот словарь краковских коллег использует свое наметившееся значительное отставание от нашего словаря (ЭССЯ, вып. 5 на D—1978 г.; ПС, т. IV — 1981 г.) для своеобразного рецензирования и комментирования нашего словаря в несколько одностороннем, большей частью критическом духе. Обычно не раскрывая своей аргументации, ПС сообщает свое предельно краткое мнение в ряде случаев, в том числе и по поводу нашего зачисления остатков после варки пива в остатки вообще: «*Mało prawdopodobne*», вариант — «*Nie widać podstawy*». Это меня и вынудило выше изложить подробнее эти «*podstawy*».

К вопросу об антитезе и м я н а р и ц а т е л ь н о е — и м я с о б с т в е н н о е могу сообщить, что для праславянской лексикографии, в частности для нашего ЭССЯ, она во многом снимается. Речь идет об эпохе или эпохах, когда исконнославянская ономастика (топонимия, особенно — антропонимия) еще не образует четкой антитезы, оппозиции, противостояния в отношении к апеллативному лексикуму (сейчас это достаточно сохраняется только в микротопонимии), и это типологически очень интересно. Ведь известно, скольких терзаний стоит упомянутая антитеза лексикографии собственно русского языка. Сказанное делает понятной практику нашего ЭССЯ — давать имя собственное (личное, местное, водное, племенное) со строчной буквы: **bělъgordъ*, **dorgobqdjъ*, **čamyslъ*. Это отвечает их формальной постановке в ряд с апеллативами, из которых они образованы. Правда, этот единый принцип (со строчной, а не с прописной буквы) распространяется нами и на рапние иноязычные включения в праславянский лексикон: **dunajъ/*dunačъ*, *děněrgtъ*, **děněstrъ* и т. д.

Кончая, я хотел бы выразить нашу уверенность, что праславянская лексикография нужна как верный способ и путь к исследованию национально- и международно важных проблем. Достаточно ска-

зать, что только из систематических занятий праславянской лексикографией и лексикологией могут вырасти по-настоящему новые, современные теоретические работы по праславянскому лингвогенезу. С ростом народной культуры жажды самопознания стремительно возрастет, и удовлетворять ее призвана также и праславянская лексикография. Методологические искания языкоznания всегда, как известно, находят отклики в смежных науках о человеческом обществе. Кажется симптоматичным, что вслед за лингвистами и их разысканиями древнедиалектного членения праязыка заговорили о диалектологии археологии и диалектологии этнографии. Впрочем, если эти диалекты не находят отражения в антропологии, это тоже по-своему интересно. Стремления во что бы то ни стало моделировать одну науку по другой, один уровень языка по другому и так уже принесли достаточно ущерба.

И самое последнее, что еще нужно сказать: лексикография, словари — это многие годы жизни составителей. Но серьезно заниматься из года в год составлением большого словаря — это не означает привычной рутинны, теоретического застоя, как может показаться со стороны (сильно со стороны). Кто знает практику большой лексикографии ближе, тот не сомневается в том, что здесь каждый новый день приносит новое, заставляет ступать на неизведанные пути, решать новые задачи не только практики, а и теории.

Примечания

- 1 Трубачев О. Н. Лексикография и этимология. — В кн.: Славянское языкоzнание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, 298.
- 2 См. о них: Schuster-Sewc H. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. — ZfSl XX, 5/6, 1975, 824 и сл.; Копечный Фр. О новых этимологических словарях славянских языков. — ВЯ 1976, № 1, 3 и сл.; Dickenmann E. Zu den slavischen Etymologica der letzten Jahre. — Beiträge zur Namenforschung 1976, 3, 321 и сл.; Ondruš S. Tri slovanské etymologické kompendia. — Slavia XLV, 3, 1976, 296 и сл.; Aitzetmüller R. Słownik prasłowiański. T. 1. — AfslPh 9, 1977, 445 и сл.; Moszyński L. Dwa nowe słowniki etymologiczne języka prasłowiańskiego. — RS XXXVIII, 1, 1977, 105 и сл.
- 3 Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. 1/Sest. F. Kopečný. Pr., 1973; Sv. 2/Sest. F. Kopečný, V. Šaur, V. Polák. Pr., 1980; F. Kopečný. Základní vseslovanská slovní zásoba. Pr. 1981; L. Sadník, R. Aitzetmüller. Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Lief. 1—7. Wiesbaden, 1963—1975 (издание прекрасено).
- 4 Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры. — ВЯ 1968, № 1, 9.
- 5 Malkiel Y. The lexicographer as a mediator between linguistics and society. — In: Theory and method in lexicography: Western and Non-Western perspectives/Ed. by L. Zgusta. Columbia; Hornbeam press, 1980, 43—58. — Non vidi.
- 6 Broda Martine. L'amour de la langue morte; Quignard Pascal. Les langues et la mort; Liberati André. Poésie et langues anciennes. — In: Action poétique N 80, 1979.
- 7 Liberati A. Poésie et langues anciennes, 37.
- 8 Трубачев О. Н. Этимологический словарь славянских языков и Праславянский словарь (опыт параллельного чтения). — В кн.: Этимология. 1976. М., 1978, 15.
- 9 Porzig W. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg,

1954. Русск. пер.: *Порциг В.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.
- ²⁰ Mańczak W. O praojczyźnie Słowian. — In: Etnogeneza i topogeneza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980, 14. Cp. еще: Mańczak W. Praojczyzna Słowian. Wrocław etc., 1981.
- ²¹ Трубачев О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений. — В кн.: Этимология. 1965. М., 1967, 58 и сл.
- ²² См. подробно с дальнейшей литературой, Трубачев О. Н. О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи). — В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963, 169.
- ²³ Там же, 186.
- ²⁴ Ślawski F. Wstęp. — In: Słownik prasłowiański, 1, 10.
- ²⁵ Филин Ф. П. Проблемы исторической лексикологии русского языка: Древний период. — ВЯ 1981, 5, 12.
- ²⁶ Там же, с. 10.
- ²⁷ Филин Ф. П. О словарном составе языка великорусского народа. — ВЯ 1982, 5, 18.
- ²⁸ Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982, 18, 26.
- ²⁹ Mioni Alberto M. La ricostruzione linguistica in Africa con particolare riguardo al metodo di Guthrie. — In: Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno Internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 1975 a cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma, 1977, 207.
- ³⁰ Meière A. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938, 384.
- ³¹ Климов Г. А. Этимологический словарь карельских языков. М., 1964, 231.
- ³² Mayrhofer I, 331.
- ³³ Трубачев О. Н. Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії. — Мовознавство 1971, № 6, с. 7 и сл.
- ³⁴ Десницкая А. В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л., 1970, 13—14, 19 («... «общегерманский» понимается не как исходное состояние, предшествовавшее дроблению на племенные диалекты, но как своего рода наддиалект, употребление которого было связано с культурными сферами жизни древних германцев»), 26 («Существование таких наддиалектных форм устной речи могло играть роль одного из важных факторов в образовании древнерусской народности, а также в закреплении и поддержании ее единства»), 34 (о фольклоре как сублимированной форме устной народной речи, отличной от речи повседневного бытового общения); Оссовецкий И. А. Лексика современных русских народных говоров. М., 1982, 27, 28 (о наддиалектных и междиалектных чертах языка фольклора); Блинова О. И. Введение в современную региональную лексикологию. 2-е изд. Томск, 1975 (о двусторонних контактах лексики фольклора и диалектов).
- ³⁵ Гавлик Л. Моравская народность в эпоху раннего феодализма. — В кн.: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, passim.
- ³⁶ Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры. — ВЯ 1968, № 1, 17; Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977, 83 и сл.
- ³⁷ Ernst G. Ein Blick durch die durchsichtigen Wörter. Versuch einer Typologie der Wortdurchsichtigkeit und ihrer Einschränkungen. — In: Linguistica XXI. Ljubljana, 1981, 47—70.